

Ирина ОВСЕЙЧУК
г. Москва

МАКСИМКА



— Максимка, Максимка... Опять Мты кормишь эту бездомную собаку, какой от этого прок? Смотри, она съест твойга пирога, и думаешь, жизнь ей чем-та изменится — нет. Поди, увяжется за тобой, выпрашивая еще. Гони ей Максимка, гони...

Максимка, слушая мать, отламывал куски пирога и кидал худой дрожащей патлатой дворняге — та, поджимая хвост, хватала и жадно глотала отломленные мякиши.

— Глупай ты у мени, Максимка, глупай, если ж у тебя мягка сердце, кинь пирога, а апосля каминь и гони ей от себи, наче решит, ты кормишь, чтоба привадить к себи и увесть в дом.

Мать, сложив руки на груди, смотрела на сына с нежностью и жалостью.

— Отец кабы не увидал, — она осторожно поглядывала в сторону двора.

Максимка продолжал отрывать куски пирога и кидать их грязной дворняге.

— Почем, мамочка, камнем в нее, ей ведь больна будеть?

— Уж так и больна — за пирог-та стерпит, ан не увяжется за тобою, испужается, авось и не издохнет дажа...

Максимка отрывал от пирога ломти и кидал собаке.

— Совсем дурачок ты у мени, чай к каму так сердечный народился. Отец-та свиней резал кажду неделю, та кричит, как дитя малая, а он папиросу из зубов дажа не выпускает — колит. Слухать мочи нет — скотину-та он бил сызмальства, без нега ни один двор не управлялси. Ча же ты-та сердобольнай? — и она прижимала руки к груди еще крепче, и глаза ее становились блестящими.

Кроме Максимки детей в семье не вырастало, все рождались и умирали младенцами. Так и рос он один. Отец с утра в поле, а вечерами — по дворам, мать на хозяйстве и всегда на сносях, рожала сама, выгоняла Максимку из дома, а после запускала уже опростан-

ная. Максимка, когда малой был, выставленный за дверь, прорвался обратно, стучал кулачками в дверь, скребся, звал мать и плакал, и всегда хотел заглянуть в маленький сверток в люльке, но родители шикали на него, не позволяли, и когда младенца выносили из дома в маленьком деревянном ящике уже умершего, тоже отгоняли. Схоронив на деревенском кладбище, возвращаясь, отец понуро ставил лопату в угол сарая и уходил к соседу Матвейчу, а мать хватала Максимку и, прижав к своей большой мягкой груди, обнимала так сильно, что Максимка не мог дышать и затихал, и слушал мамкино сердце, которое билось мягко, спокойно, и ловил ее горячее, влажное дыхание на своей макушке, и слезы лились из его глаз от мамкиной ласки — тихо-тихо, и мать тоже начинала ронять на его шею мокрые капли, но, заслышав стук калитки, испуганно вздрагивала, отнимала сына от себя и, утирая глаза концами платка, завязанного в узел на затылке, бежала к печке и сутилась, собирая на стол, а Максимку выставляла во двор, и он слонялся неприкаянным, выходил за калитку, собирая вокруг себя бездворовых собак, среди которых была та самая, жалкая для него, — худая и страшная и потому, верно, самая голодная, с кучей репейников на боках, шерсть ее посбилась, свалаясь и свисала с боков, словно оторванные подошвы валенок. Максимке всегда хотелось покормить ее. Ближе к себе она не подпускала, но сидела каждое утро недалеко от калитки и ждала, когда Максимка вынесет ломоть хлеба или, может, даже пирога! И он каждый день выносил бездомной дворняге что-нибудь тайком, пока та не издохла — кто-то прибил ее прямо у калитки, где она всегда ждала Максимку. Отец, усмехаясь, отволол ее за тощие лапы за сарай, по земле волоча шерстяными сосульками, и прикопал в навозе: «Для удобрения, нехай гниет».

Максимка убежал из дома за поле, в березняк, где у него была его березка, — долго плакал под ней. Раньше эта березка была двойная, снизу сросшаяся с другой, но во время весенней грозы в нее ударила молния, и вторая половинка после засохла, обломилась, и остался пенек, на котором и сидел Максимка и плакал по собаке. В стволе была щель, из которой ка-

пала то тягучая смола, то березовый сок, и Максимка думал поначалу, что березка плачет вместе с ним, и еще горше плакал. После ночевал на погосте, а когда отец поймал его за огородами и приволок за шкурку домой, выпорол старенькими, но еще годными вожжами, что кожа послазила, и после частенько драл его за сердоболит, приговаривая:

— В нашем роду слюняжков не была, щам я тебе дурь-та повыбию.

Максимка кричал, просил в слезах: «Батянька, не нада, батянька!..»

Мать уходила в дом и после с припухшими глазами возвращалась, прикладывала к красным рваным полоскам на спине сына от грубой вожжевой кожи лопухи — лицо ее темнело и делалось суровым.

Максимка долго еще жалел издохшую собаку, плакал, а мать тихо ворчала на него:

— Дурень ты, Максимка, дурень, собака издохла, а ты плачешь. Хорошо, что издохла — отмучаласи.

Отец рано стал брать Максимку с собой, когда по осени или перед празднеством каким его звали на чей-то двор резать скотину. Подолгу объяснял ему, как правильно надо бить, показывая тут же, как держать нож, чтобы ударить прямо в сердце, дабы «животина не мучалась», под каким ребром колоть нужно свинью, как валить бычка, но совсем иначе надо с поросятами: «Поросенок что ребенок. С ним надобно ласково», — опустившись перед загоном коленями на землю, посыпанную соломой, отец выхватывал из розовой щетинистой кучи белесое вытянутое тельце и, уложив себе на колени кверху брюхом, заставлял Максимку подойти совсем близко и протянуть руку: «Сердчишка как заходить, слухай...»

Максимка, не смея отдернуть руку, жмурил глаза, отец вжимал его пальцы в горячего поросенка, а сердечко и вправду билось, как малек, в ладонях Максимки, когда, бывало, он ходил в летние дни по запруде, местами поросшей тиной, что сбоку от горохового поля, куда вместе с соседскими пацанами в знойные дни бежали через огороды тайком от взрослых и ловили жаболят с хвостами, после которых мать, кляня весь жабий род, мягко

поддавала Максимке по шее, но так и не повывела у него с рук «жабьячи бородавки».

Максимка заходил в воду по колени, раздвигая скользкую водяную траву, разгонял стайки мальков плотвы и долго стоял, ждал, пока те привыкнут, и когда они начинали щипать на волосках его тощих ног воздушные пузырьки, извернувшись, черпал ладонями пугливых рыбок и, зажав в руках нескольких, прислушивался, как те испуганно бьются о его пальцы, и потом он отпускал их, и ладоням еще долго было приятно...

— Тебе надобно знать, где у поросенка сердце. Вона, как у тебя, — тыкая пальцем в грудь Максимки, отец деловито обучал. — Сначала, пока не выучишься, рукой ищи и пряма, где стучит под пальцами, коли под ребра, чтоб виду не попортить. Коли нежно, не испугать чтоб. Да смотри пальцы отымай, нета наколешь сам себе. И животину жалей, не мучай, — отец важно объяснял, пока поросенок от визга своего не осип и хрипло уже постанывал, а когда всучил его Максимке в руки, тот притих, сделался мягким и стал смотреть по сторонам бусинками глаз из-под длинных бесцветных ресниц, и заводил взгляд на Максимку, а сердчишко, как малек, билось о пальцы и просилось обратно в свою запрудину.

Отец вынул из кожаного чехла длинный заточенный нож и вложил в одеревеневшую Максимкину руку резную отполированную рукоять, которую сам когда-то сделал из кости убитого им зимой медведя-шатуна, повадившегося разорять охотничье зимовье на противоположной стороне их речушки Нисовки. Пошел за хворостом и рубанул топором медведя, когда тот, поднявшись на задние лапы, с ревом вышел из-за широкой еловой ветки, покрытой снегом. Шкуру плохо продубили, и летом ее съели черви, а эта трофейная рукоять каким-то образом, как казалось ему, давала силу над животинной всякой, и он берег нож и всегда ходил с ним...

Поглядев пристально сыну в глаза, отец глухо отрезал: «Бей!»

Максимка весь сжался, большой комок отчаяния поднялся к горлу, словно пузырь воздуха на волосинке, перекрывая дыхание, и хо-

тел выдернуть пальцы из отцовской ладони, но тот силой удерживал и, заведя нож, хотел было ударить, но тут же удивленно с досадой вскрикнул и отдернул от сына руку — тот вцепился зубами в нее, словно шенок в чурку. Гневный взгляд отца хлестнул Максимку по щекам, и, загоревшись от какого-то неясного внутреннего стыда, Максимка отпрянул и выронил поросенка на солому, выскочил из поросятника и, не разбирая тропинки, побежал. Пузырь, поднявшись еще выше, застрял криком в горле, лопнул и полился из глаз по лицу, размазанный яростно детскими кулаками.

— Слюнтяк! — отец, выйдя во двор, кричал вслед убегающему Максимке, и тот, добежав до конца огорода и перемахнув через разваленный сгнивший забор, бежал в березняк, к своей березке.

Припав лбом к гладкой прохладной коже деревца, рыдал, вдыхая ее запах, пока не охрип, и, устав, обхватив ствол руками, тихо поскуливал и после, затихнув совсем, прижимал пальцы к своей груди, ища сердце, а найдя, слушал, как оно дергалось мальком о ладонь, как у того поросенка.

После, как стемнело, прокрался огородами домой, отец выловил его во дворе и, отведя в сарай, учил вожжами. Максимка даже не плакал — слез уже не осталось на вожжи.

За стол отец не пустил.

Мать в сени вынесла миску с супом, а вслед за ней вышел отец и сунул Максимке в руки кусок вареного молочного мяса на хлебе: «Твой поросенок...» — усмехнувшись в усы, бросил он.

Максимка смолчал, но поросенка есть не стал — скормил собакам.

Со временем кожа у Максимки стала дубленая, норов скрытнее. Отцу никогда не перечил, но бить скотину с ним не ходил, всегда сбежал и научился не плакать при нем. А мать Максимку жалела, но не заступалась за сына — побаивалась мужа... до неожиданной смерти того.

Было время сенокоса, с каждого двора шли мужики на поля за березняк в пойме мелкой извиистой речушки Тарасовки, что текла сразу за их Нисовкой. По обеим ее берегам раскинулись травяные луга: со стороны дерев-

ни звавшиеся «ближними», а по ту сторону речушек «дальними».

Мужики косили траву сообща и уже сухую собирали каждый в свои скирды, и Матвейч на телеге, переправив вброд, развозил по соседям.

Отец каждое утро вставал спозаранку, чистил, натачивал оставшуюся еще от деда косу, брал флягу колодезной воды, наготовленной еще с вечера матерью, и шел косить, а та к полудню несла ему обед: крынку молока, картохи вареной, яйца да кусок сальца на ломте хлеба.

Намедни он долго сидел на завалинке за сараем, мусолил папиросу и смотрел на закат — солнце в тот вечер спелой кровавой смородиной висело в небе, почти касаясь верхушек березняка за огородами, и небо вокруг тоже делалось багровым.

В прошлый вечер Максимка опять сбежал, когда он хотел его взять в соседнюю деревню, чтобы подсобить ему завалить трехлетнего телка, а на дворе там одна старуха, и, рассерчав, вернулся и драл сына, пока не порвал вожжи, а тот не плакал, только дрожал и закрывал лицо руками, кусая губы в кровь. Уже обессилев, он оставил Максимку, собрал куски вожжей и пошел к речке, размахнувшись, забросил их в самую глубину, поклявшись себе самому, что больше сына пальцем не тронет. Потом пошел к Матвейчу за кружкой самогона и бранил себя, что сына чуть не угробил и вожжи еще хорошие вконец изничтожил.

Уже под утро, зайдя в избу, прокрался тихо и заглянул за печку, где спал сын. Максимка лежал на животе, постанывал во сне, а подле сидела мать, склонив голову к груди, с опущенными плечами, и рябиновой веткой водила над опухшей спиной Максимки, отгоняя мух. Кожа сына была покрыта красными рваными полосами по прежним рубцам. Мать смазала раны зеленым маслом, которое специально для сына сама настаивала на травках. Услышав дыхание мужа, повернула к нему застывшее, окаменевшее лицо и невидящими глазами посмотрела — тому стало не по себе. Он опустил глаза и сконфуженно вышел из избы, кинув жене: «Я на сенокос».

Отца после полудня нашли на поле с его же скотным резным ножом в груди, где он собирал в стога подсохшую траву. Мать понесла ему

обед и, как рассказывала сама после, нашла того в траве, в запекшейся уже от солнца крови.

На людях она плакала, а, зайдя в дом, вздыхала, вытирала глаза насухо и тихо приговаривала: «Бог прибрал», и крестилась куда-то в сторону от иконы.

Максимка после кончины отца быстро как-то повзрослел и стал еще более походить на него. Для матери он стал единственной опорой, кормильцем, работал в поле наравне с мужиками, ходил за скотиной и побивал уже собак камнями, если какая привязывалась за ним, и даже подбил одной лапу, и та осталась хроменькая. В округе его стали величать уважительно, поминая отца, «Максими́ч», а весной он зарезал своего первого поросенка.

Когда позвали на почин, у Максими́ча дрожали руки, а дед Матвей, чьего поросенка надобно было колоть, потягивая папироску, изучал прищуренными от дыма глазами Максимку, припоминая покойного его отца: «Василь мастер был свога дела. Животину не мучал ни враз — рука легка была у него. А ты, Максимка, в него характером походишь. Он тожа поперва боялсии бывала, бегал от отца свога пуще твога, а апосля первага поросенка привыкси и кажный раз апосля с отцом ходил — руку набивал. Так ча, ты не чурайси семейнага дела. Живодер на деревне — она звание почетна и сытна — на все времена. А ежели жаль скотину-та — бей быстра, как батяня твой, — и налил Максимке в кружку самогона, — пей, шам мужика из теби враз сделаю!»

Максимка помнил, как отец, называя ее «горячей», частенько пил с Матвейчем за дровяником из бутылки и посылал его надергать луковых перьев на огороде — занюхать. Отец выпивал одним махом, кружка за кружкой, и становился сразу разговорчивым, глаза блестели, он доставал свой нож и начинал его старательно натачивать, натирать.

Говорили с Матвейчем об охоте, хозяйстве, а когда начинали за жизнь, Максимку прогоняли, и тот уходил в свой березняк, слушал, как березы перешептываются между собой и ветер, запутавшись в зеленых волосьях крон, начинал их раскачивать.

Максимка часами сидел под своей березкой

на пенечке, наблюдая за облаками, разбросанными над головой где попало по небосклону, пока не затекала шея и не начинали болеть глаза, и он нехотя тогда плелся домой...

Максимка заглянул носом в кружку и, поморщившись, отвернулся.

— Ты нос-та зажами и лей в глотку. Нечага нюхать — пить найдат, — лукаво подтрунивал Максимку Матвейч.

Максимка, как отец, выдохнул и, зажмурившись, опрокинул кружку в рот. Судорожно сделав три больших глотка, взвыл, запрыгал на месте, хлопая себя по губам — внутри все обожгло, будто он хлебнул печного огня, и в голову тоже отдало горячим и растеклось по всей голове и по всему телу тонкими согревающими струйками. Максимку странно покачивало, и голова была словно наполнена баннным паром, от которого он однажды угорел в бане, задремав на полке. Страх терялся в этом пару, и скоро Максимка уже совсем потерял его из вида, остался в руках только тяжелый нож — рукоять холодила разгоряченные взмокшие пальцы. Максимка вытянул лезвие из чехла и стал смотреть на блестящую сталь, она переливалась, сияла — нож был добротен!

— Вылитой Василь! — Матвейч довольно цокнул языком, кряхтя, поднялся с ящика с картохой, на котором сидел, и, засунув руку в темный закуток, долго шупал и наконец вытянул оттуда заспанного поросенка, безвольно повисшего на ладони старика, только от мамкиной груди — с молочным ободком на рыльце. Он дружелюбно смотрел на маленький сарайный мирок.

— Накося, учись! — и ткнул поросенком Максимке в грудь, выжидаяще смотря на него слезящимися, выцветшими от работы в поле глазами.

Максимка взял поросенка. Тот смотрел на Максимку, доверчиво принюхиваясь своим пятакон, двигая им во все стороны, будто ощупывая его. Максимке в первую секунду захотелось, как раньше, бросить его и убежать, но что-то внутри удерживало и не пускало. Максимка вцепился в рукоять ножа, и смятение прошло: «Не смотри животине в глаза, коли вздумал убить. Животина в глазах твоих видит смерть свою», — говаривал отец,

уча Максимку, но глаза сами зацепились за черные поросячьи бусинки, и Максимка испугался, что сейчас поросенок прочтет его мысли и все поймет. Бусинки застыли и сделались большими, поросенок напрягся и, зажмурившись, завизжал что есть мочи — вся свиная семья проснулась, и свиноматка принялась беспокойно хрюкать и толкать носом загон, а малая поросячья братия стала тоже визжать вразнобой. Шум поднялся такой, что Матвейч заткнул уши, а Максимка, держа поросенка на вытянутой руке перед собой, соображал, что делать.

— Не мучай животину, Максимыч, коли жива!

Максимка молниеносно смахнул кепку с головы и, закрыв ею визжащего поросенка, прижал его пятак к земляному полу, покрытому соломой, стал лихорадочно нащупывать пальцами биение сердца, и, когда под ними запульсировала учащенная дробь, он завел нож, как учил отец, и, приставив к розовому подрагивающему тельцу... ударил. На пальцы брызнула горячая красная струя, поросенок дернулся несколько раз и обмяк. Максимка, выронив нож, смотрел на окровавленную руку и стекающую на солому кровь — все вокруг смолкло и поплыло кровавыми пятнами: довольное красное лицо Матвейча, окровавленный поросенок и много, много кровавых рук. Он не слышал ничего, в голове пульсировала одна мысль: «Убил!»

Максимка выбежал из сарая, глотнув свежего сырого воздуха, и его тут же скрутило и вырвало. На непослушных ногах он побежал к березняку, а в пальцы все билось мальком сердце поросенка, и уже плача у своей березки скудными, исплаканными уже слезами, смывая ими кровь с рук, слушал, как бьется его собственное сердце, все тише и тише, и вот, кажется, совсем перестало биться и вроде замолкло совсем, и его самого уже не стало будто.

Максимка, трогая пальцами рубцы на коже от вожжей и покусанные губы, думал о своем отце, жалел маменьку, и, придя домой, сидел долго в сенцах, вытянув руки перед собой и рассматривая оставшуюся под ногтями кровь.

Мать, выглянув, подошла к нему и, опустившись перед сыном на колени, обняла его, притянув его голову к своей груди, гладила заскорузлыми пальцами его непослушные во-

лосы. Сдавленным голосом Максимка шептал ей в грудь, вдыхая материнскую теплоту, а та еще сильнее прижимала его лицо к себе, заглушая его голос, и шептала в ответ.

— Ты терпи, Максимушка, терпи, сынка, терпи, — повторяла она снова и снова, — терпи, Максимка, терпи...

На следующий день Матвеич занес в их избу Максимкину кепку, отмытый от крови сверкающий отцовый нож и торжественно вручил завернутый в большой лопуховый лист кусок молочного поросенка:

— Ну, Максимыч, с почином, и батяня твой загордился бы тобой. Рука у тебя — его, легкая! — старик потрепал Максимку за плечо.

Максимка молча взял нож за рукоять и, прицепив важно на отцов ремень в его же, великоватых ему пока, штанах, отдал в руки матери сверток и велел приготовить ей поросенка, как полагается, а сам с Матвеичем пошел за дровяник, где сидели долго и толковали о жизни, пока мать не позвала к столу.

Мать улыбалась и тайком после не нарадовалась на Максимку, часто наблюдая, как тот справляется по хозяйству, говорила, смахивая слезы украдкой: «Отец вылитой...» — и незаметно крестилась в землю.

Максимка мужал, и уже ходил по дворам и

бил скотину, и научился курить, как батяня, а зимой, прямо перед своим шестнадцатым годком в канун Рождества, пошел в лес за хворостом для бани и не вернулся.

Всей деревней его искали и не нашли, а по весне, когда снег сошел в березняке, под одной березкой у пенька Максимку, растаявшего от весеннего солнца, с охапкой веток в руках и заметили. Отцовый нож не нашли. Мужики говаривали, что «скотный бог» его забрал.

А березка Максимкина истекла соком и к лету засохла.

Мать, схоронив Максимку рядом с отцом и другими детьми, закрывшись в доме, долго не выходила, а после стала по утрам, за калиткой, подкармливать бездомных собак, пекла для них хлеб и пироги, и каждый день перед ее двором собиралась целая свора патлатых грязных дворняг. Садясь под окна и отрывая куски от хлеба, она бросала их псам, приговаривая:

— Максимка, Максимка... Опять ты кормишь эту бездомную собаку, какой от этого прок? Смотри, она съест твойго пирога, и думаешь, жизнь ей чем-та изменится — нет. Гони ей, Максимка, гони...

□

Ирина ОВСЕЙЧУК

родилась в Сибири в г. Усолье-Сибирское.

В настоящее время студентка факультета «прозы»

Литературного института им. А.М. Горького.

Пишет для детей и взрослых.

Финалист международного конкурса М. Волошина.

Лауреат конкурса «Северная звезда».

В журнале «Север» публикуется впервые.

